

(1839—1908)

Петр Иванович Добротворский (псевдоним — Петр Кармасанов) родился в Симбирске в семье врача. Окончив в 1860 году Петербургское артиллерийское училище, он получил право остаться в Михайловской военной академии. Получив отпуск, в 1861 году поехал в Симбирск, а оттуда — в Уфимскую губернию, чтобы помочь матери в «устройстве быта крестьян». В Уфе он женился и остался навсегда в Башкирии.

С 1863 года Добротворский начал работать мировым посредником (судьей) сначала в Бирском уезде, а через два года — в Белебеевском, где и прослужил двенадцать лет, затем шесть лет был мировым судьей в Уфимском уезде. Выйдя в 1885 году в отставку, переехал на постоянное жительство в Уфу, и занимаясь литературно-журналистской деятельностью, прожил здесь до конца своей жизни.

В юношеские годы Добротворский увлекался демократической литературой, и это наложило отпечаток на всё его творчество. Глубоко возмущенный варварским расхищением башкирских земель и лесов, он развернул бурную публицистическую деятельность. Его обличительные корреспонденции, публиковавшиеся в столичных газетах, вызвали сенаторскую ревизию Уфимской губернии, которая подтвердила вопиющие факты злоупотреблений в Башкирии.

Наступившая в 80-х годах реакция затруднила печатание публицистических статей, и тогда Добротворский обратился к беллетристике. В газетах и журналах появляются его очерки и рассказы, которые позднее выходят отдельными сборниками: «В деревне, в заводе, в городе» (1888), «Рассказы, очерки и наброски. Мысли в картинах и образах» (1892), «В глуши Башкирии» (1901) и другие. На закате жизни он выпустил интересную книгу своих воспоминаний «Моя исповедь» (1904).

## БАБАЙ

Это было давно, в годину страшного бедствия, которое — на языке народном носит очень характерное название «голодовки».

Наступала весна. Я был мировым посредником, объезжал свой участок и собирал сведения о голодающих. Снег, лежавший в степи глубоким настом, таял быстро, вершины холмов уже оголились, в низинах показалась вода, благодаря которой начали образовываться зажоры, делающие всякое сообщение не только затруднительным, но даже и опасным.

Я ехал на своих: «Мышонок» — рыжий, красивый мерин, ходивший у меня на «гусю», шел осторожно, низко опустивши голову и выбирая себе дорогу, где бы не провалиться; запряженный в середину бурый «Казак», натянувши, как струны, постромки, усердно тащил «кошевую», а иной раз и самого коренника, старика «Белого», который устал и, надеясь на своих верных товарищей, шагал лениво, потряхивая то и дело своей косматою головой, точно он желал отделаться от назойливо звеневшего над самими его ушами колокольчика. Мой возница — простой, добродушный парень Нестер — шел сзади саней пешком, по временам пуская вперед свой длинный, гусевой кнут, поддерживая таким образом бодрость и энергию в утомившейся тройке.

День клонился к вечеру; кругом царил тишина: ни одного живого звука; слышится только какой-то неопределенный глухой шум, будто далекий-далекий шепот многолюдной толпы, от сплывавших вод в низины, да когда замирал колокольчик, слышно было, как оступались и проваливались лошади, — ни одного живого существа.

Было уже совсем темно, когда мы с Нестером добрались до большой башкирской деревни, растянувшейся, как и всегда, одной улицей, чуть не на целую версту. Ни огней, ни движения, — население точно вымерло; даже собаки и те не встретили нас своим обычным лаем, только там, где-то вдали, будто упавшая с неба звездочка, дрожит слабый, одинокий огонек.

Огонь этот, когда мы подъехали к нему, как оказалось, горел в одной избе, которую, по сравнению с окружающими ее лачужками, право, можно бы смело назвать дворцом, потому что у ней были и рамы с цельными стеклами, и тесовая крыша, да и вся она, освещенная в эту минуту ярко вспыхнувшей лучиной внутри, смотрела как-то особенно уютно и весело.

— Ну-ка, остановись! — сказал я моему вознице.

Парень придержал вожжи, лошади стали, я вылез из «кошевой».

— Нужно зайти, — здесь, кажется, сытые живут! — говорю я, обращаясь к Нестеру, с которым мы объехали в этот день не мало деревень, а видели только голую, буквально, голую нищету да сотни голодающих.

Отворивши тихо ворота, тихо взобравшись на крыльцо, я вошел в избу совершенно неожиданно. Несколько женских

фигур и несколько ребятишек, мал-мала меньше, увидя вошедшего к ним незнакомца, а быть может и узнавши в нем своего начальника, точно кучка испуганных овец, почуявших хищного зверя, шарахнулись и быстро скрылись за занавеской, составляющей необходимой принадлежностью каждого помещения, в котором живет мусульманская семья, не имеющая у себя особой женской половины.

Я остался один в совершенно пустой избе: голые нары да «светец», в котором дымила, начинавшая тухнуть, лучина: ни перин, ни подушек, сложенных обыкновенно целой горой на нарах, ни самовара, всегда красующегося на виду, ни даже «кунгана» с тазом, которые необходимы для обычных мусульманских омовений, — ничего не было. В избе, как говорится, хоть шаром покати.

Впрочем, одиночество мое продолжалось не долго: сельское начальство скоро проведало о моем приезде и тотчас же явилось. Первым пришел десятник, маленький, неуклюжий башкир.

— Здравстуй, хазрет (господин), — сказал он, приветствуя меня и низко кланяясь.

— Отчего тут такая пустота? — говорю я, показывая рукою на окружающую нас обстановку или, вернее говоря, на отсутствие всякой обстановки.

Десятник понимал русский язык плохо, почему мне пришлось еще раз повторить свой вопрос, мешая башкирские слова с ломаным на татарский манер русским языком.

— А, понимал, хазрет, — сказал он радостно, внимательно выслушавши меня, — понимал. Становой наша деревня был; перина, подушка, самовар, кунган — все недоимка писал, — отвечал он таким тоном, каким обыкновенно дети рассказывают страшные сказки.

Ответ этот несколько не удивил меня, потому что я уже знал не один случай, когда одною рукою мирового посредника выдавалось пособие, а другою рукою одновременно с этим взыскивались недоимки.

— Все описал? — спрашиваю я, усаживаясь на пустую бездонную кадку, на которой вместо сиденья была положена простая дощечка.

Началось «талалаканье» с бывшими за занавесью женщинами.

Между тем подошел сотский, атлетических форм и огромного роста, каким и надлежит быть полицейскому стражу, хранителю тишины и спокойствия; наконец, прибежал, запыхавшись, и староста, который, как оказалось, жил на противоположном краю селения.

Пришло по-повторить вопрос. Староста хорошо понимал и говорил по-русски, почему и разговор пошел теперь живее.

— Нет, хазрет, не все. Хасян лишняя одежда к Архипке в русский деревня в заклад ташил,— отвечал староста.

Архипка — простой, русский, зажиточный мужик. Здесь, по деревням, таких Архипок множество. Все они занимают тем, что ссужают нуждающихся то хлебом, то деньгами; с русскими они не церемонятся, обождать же башкира считают чуть ли не за «спасенье». Проценты берутся ими, особенно во время таких бедствий, как «голодовка», громадные, величину их определить даже невозможно. Подобные Архипки есть и в деревнях, населенных мусульманами; они, конечно, носят свои национальные имена: Ахметок, Махмуток или что-нибудь в этом роде, но, говоря по совести, последний и лучше, и честнее русского «паука»-крестьянина.

— Где же хозяин? — спрашиваю я, не замечая в избе его присутствия.

— Хасян? Хасян Оренбург пошел, «работка» искать, хазрет,— отвечал староста, продолжая держать руки по швам, по-военному.

Башкиры — народ дисциплинированный, недаром они составляли отдельное войско.

— Кто же у него в доме остался? — задаю я новый вопрос.

— Кто? Бабам, девкам, «баранчук» (ребятишки) остался да еще «бабай» (дедушка) — перечислял староста.

Затем начинается уже опрос, который приходилось мне в то время делать в каждом доме, где указывали голодающих: сколько душ? сколько работников? есть ли хлеб, чем питаются? и т.д., и т.д.

Так поступил я и тут.

— Сколько их? — спрашиваю я, доставая записную книжку и приговариваясь делать заметки.

Новые переговоры с невидимками, после которых и следует ответ:

— Десять люди, хазрет,— работник один.

— Ну, а «икмек» (хлеб) у них есть? — спрашиваю я.

— Бар, бар, бар,— кричат невидимки в несколько голосов. Слово «бар» значит есть.

— Покажите,— говорю я, желая видеть количество и качество имеющегося хлеба.

Опять слышится долгое «талалаканье», причем не раз упоминается слово «бабай», который и сам появляется на сцену,— появляется как-то совсем неожиданно, откуда-то из-за моей спины.

Это был сгорбленный, совсем согнувшийся старик — худой, как мумия, на котором его старенький халатишка висел

как на вешалке. Лицо у него было темное, землистого цвета, тогда как подбрившие усы и маленькая клинообразная борода были белы, как снег.

Мы поздоровались. «Бабай» почтительно, но с достоинством поклонился и протянул руку, я подал свою. Узнавши в чем дело, старик засуетился.

— Бар, бар,— говорил он, шамкая своим старческим языком; наклонился и полез под нары.

«Бабай» кричит,— сундук, который он силился вытащить, не поддается, староста и десятник бросаются помогать старику; с помощью их большой деревянный сундук, запертый висящим замочком, выдвигается на самую середину комнаты.

Ключ оказывается у «бабая»; он шарит по карманам, ищет его, наконец нашел,— начинает отпирать. Движения старика нервные, глаза горят фосфорическим блеском, руки трясутся, точно в этом грязном старом сундучишке хранятся у него и невесть какие сокровища. Замок отперт, крышка поднята. Я заглянул туда: сундук был пуст, по крайней мере, он мне показался пустым. «Бабай» пошарил на дне и вынул оттуда каких-то темных три круга, которые дрожащими руками и подал мне.

«Что это такое? Насмешка, что ли, над начальством?» — подумал я.

— Что это такое? — спрашиваю я, возвышая голос поначальнически.

— Икмек, хазрет, икмек,— отвечал «бабай», спокойно смотря на меня с некоторым удивлением.

Я взял из рук старика один кружок,— кружок оказался твердым, как камень.

— Из чего это испечено? — спросил я, рассматривая каменную лепешку вершков пяти в диаметре и немного толще пальца.

— Из муки, хазрет,— отвечал староста, видимо удивленный, что их «мировой» не знает того, что у них в деревне знает каждый, даже самый маленький «баранчук».

Я попробовал было отгрызть кусочек: зубы не берут, на зубах хрустит, как песок, да и цветом-то лепешка похожа на грязный суглинок.

— Откуда вы такую муку берете? Сами, что ли, приготовляете ее, из чего? — задаю я вопрос за вопросом.

Староста опять перебрисился несколькими словами с скрыжавшимися невидимками.

— Хасян, хазрет, обработка брал, жнитво взял, так ему там муки давали,— пояснил староста.

— Как давали?

— Вместо деньга давали,— сказал он, ухмыляясь моей

